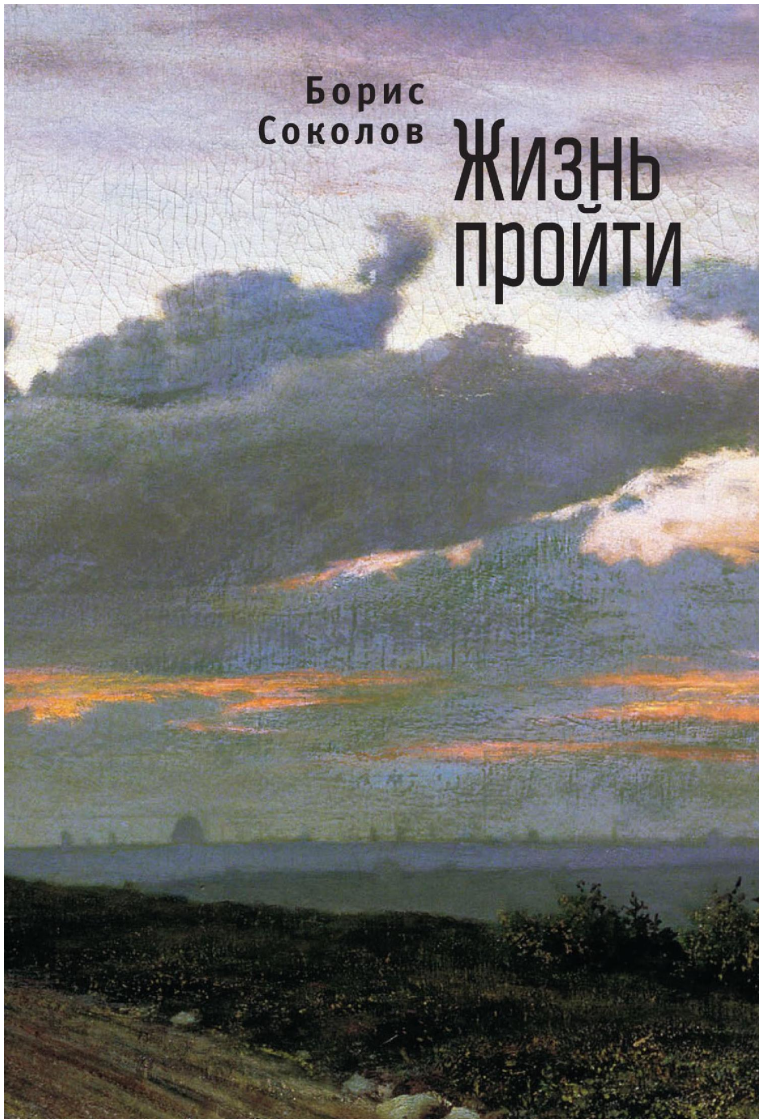


Борис
Соколов

ЖИЗНЬ ПРОЙТИ



Борис Иванович Соколов

Жизнь пройти

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=49867802

Жизнь пройти:

ISBN 978-5-907189-92-8

Аннотация

В новую книгу известного писателя Бориса Соколова собраны ранее никогда не публиковавшиеся рассказы, случайно найденные автором в собственном многолетнем архиве при переезде. Они очень разные и по годам написания, и по содержанию, и по исполнению (технике, тональности), и по отраженному в них времени. В каждой из этих забытых историй прошлого века отложилось свое время – каждый раз с присущими ему большими и малыми приметами. Надо сказать, что в пору их создания автор не отступал от принципов своей работы: быть честным перед собой и своей совестью, не лукавить, не заискивать перед читателем и уж, тем более, не оглядываться на цензуру – правила, которым он следовал всегда.

Содержание

От автора	5
Часть первая	8
Начало	9
Нечаянная встреча с «Пушкиным»	18
Приключения неопита	24
Волка ноги кормят	33
Из дальних странствий возвратясь	37
«Москва – она широка, брат...»	42
Отлучение	51
Катастрожка и неожиданный подарок судьбы	59
Часть вторая	64
Железная птица	64
Верблюжье житьё	81
Конец ознакомительного фрагмента.	85

Б. И. Соколов

Жизнь пройти

Нужна целая жизнь, чтоб научиться жить.
Сенека

От автора

Чем дольше живёшь на белом свете, тем сильнее охватывает тебя ощущение непостижимости этой субстанции, которой мы дали такое название: *время*. В юности оно течёт медленно, всё торопишь его, жаждешь, чтоб скорее наступило то, к чему стремишься – порой и целый день-то тянется скучно-долго. А в старости... не успеешь оглянуться, как уже год прошёл. А уж придёт в голову, что до тебя не одна тысяча лет унесена рекой времени вместе с миллионами жизней – тут и вовсе растеряешься.

Всесильный человеческий разум тут не помощник – ему недоступен ни смысл, ни глубина этого явления. Невозможно постичь тайну существования, например, бабочки-однодневки или тысячелетней секвойи. Как и жизни человеческой.

Но если отойти от философии и воротиться к простым, казалось бы, реалиям – опять-таки столкнёшься с вопросом, ответы на которые будешь искать всю жизнь.

Человек, с юности обречённый доверять сокровенное бумаге, в зрелые годы вдруг обнаруживает себя за странным занятием: складывать написанное в ящик письменного стола в понимании, что не найдётся ни одного сумасшедшего редактора, который допустил бы к публикации что-нибудь из содержащегося в деревянном хранилище.

Эта история и происходила с автором в семидесятые, когда сам он ещё ни сном ни духом не чуял, что придёт и его время – ещё до перестройки.

И вот теперь – в нескончаемом потоке дел своих, – спустя полвека, он удосужился, наконец, как следует просмотреть свой архив, скопившийся за многие годы – и обнаружил некоторые рассказы, когда-то (1959–1982) им рождённые, а теперь напоминающие детей, оставленных легкомысленным отцом. Произошло такое опоздание по недостатку внимания к своему труду или просто по забывчивости – теперь не так уж и важно. Собрав их вместе – совершенно разных и по времени, и по месту рождения, и по содержанию – автор пришёл к мысли, что у них есть одна общая черта: они брошенные, забытые. Достаточное ли это основание для того, чтобы опубликовать их под одной обложкой?

А почему бы нет? Оставленные дети ни в чём не повинны.

Надо сказать, что в пору их создания, автор не отступал от принципов своей работы: быть честным перед собой и своей совестью, не лукавить, не заискивать перед читателем и уж, тем более, не оглядываться на цензуру – правилам, которым он следовал всегда. Разумеется, наедине с белым листом бумаги всё это оставалось где-то «за кадром», ни о чём таком он не задумывался, просто-напросто предоставляя себе полную свободу действий.

Теперь в надежде, что читатель книг ещё где-то жив, не помер окончательно, автор предлагает восемь обнаруженных

рассказов (во второй части книги). Надо признаться, что сам он перечитывал их, постаревших, отстранённо, с некоторым удивлением. В каждой из этих забытых историй прошлого века отложилось своё время – каждый раз с присущими ему большими и малыми приметами. И, хочется надеяться, сохранилась сама атмосфера тогдашней жизни.

Но перед тем следует рассказать, какие испытания в тот период выпали на долю автора (этому посвящена часть первая).

Часть первая

На неизведанном пути

Сидели мы вдвоём в кафе и, как это бывает при встрече, говорили о том о сём – и тут мой добрый друг обратился ко мне с такой речью:

– Послушай, тебе ведь случалось пережить немало приключений на пути к читателю. Почему бы не собрать их, те приключения, вместе – из этого получилась бы целая повесть. И это было бы интересное чтение.

От этих его слов я на мгновение ощутил себя взобравшимся на гору путником, который вдруг оглянулся и увидел свой пройденный путь со всеми его зигзагами.

А он всё улыбался, на меня глядя.

О друге моём в двух словах не скажешь – и потому к этому я вернусь позже, а теперь лишь отмечу, что идея эта захватила меня не сразу, но через какое-то время я взял да и принялся за работу!

Тут следует сделать необходимое пояснение.

Какие-то из случившихся с автором историй уже присутствуют в изданных ранее книгах. Остаётся надежда, что теперь – собранные все вместе в своей последовательности во времени – они не будут лишними и не станут менее интересными.

Начало

(Вторая половина пятидесятых)

Со дня своего основания князем Потёмкиным в 1789 году южный русский город Николаев – город корабелов: таким он был в те времена, таковым оставался и теперь, когда я в нём оказался: три мощных судостроительных завода – только на одном из них (бывшем заводе Марти) трудилось около 50 000 человек и строились огромные суда – китобазы. Естественно, такой город не мог обойтись без профильного высшего учебного заведения, каковым и стал НКИ (кораблестроительный институт), тогда практически равный по своему значению ЛКИ – Ленинградскому Кораблестроительно-му.

Выпускнику сельской десятилетки из воронежской глу-бинки выпала честь стать студентом НКИ.

Юность, студенчество... Для каждого новичка, вступившего на путь обретения серьёзной специальности, – это целая эпоха, когда ему открывается огромный мир, в котором он должен обрести себя, найти своё место.

Как же это было со мной?

Все мы были по уши заняты нелёгким трудом освоения непростой науки, открывающей путь к замечательной профессии по сотворению из точных расчётов и не менее точных чертежей какой-нибудь стальной машины, предназначенной

горделиво рассекает воды Мирового Океана. И архисерьёзное (да простит меня читатель за позаимствованный у Ильича эпитет, но он в точности отражает тогдашнее наше состояние) это дело происходило, что ли, с некоей поправкой на молодость, присутствие которой неизменно ощущалось и которая брала своё. Она, молодость, сама в себе содержала многое, приобретённое в школе.

В студенческом бытовании – будь то в стенах вуза или в общежитии – многие однокашники мои были удивительны. Один, например, в поисках аргумента во время обсуждения наших насущных задач на ниве обучения мог походя процитировать Льва Толстого: «Увяз коготок – всей птичке пропасть!»; другой при случае принимался декламировать пушкинского «Гусара»: «Скребницей чистил он коня...». Эти ребята, избравшие специальность техническую, по существу мало чем отличались от гуманитариев. И в таких проявлениях не было никакого притворства или желания чем-то поразить. Просто это было естественное обращение к тому, что сопутствовало жизни, оставалось в душе, ибо всё накопленное в годы школьной учёбы оставалось с нами. И оно помогало нам не только выстоять в обрушившемся на нас огромном объёме знаний – оно помогало нам жить. Выучившись, мы должны были сделаться не просто специалистами-технарями. Мы должны были стать людьми.

Именно с этой целью при поступлении в технический вуз среди прочих экзаменов нам, абитуриентам, предлагался

один, казалось бы, совсем лишний – сочинение. И это было объяснимо: без должного знания нашей «библии» (классической литературы) и особенно русского языка не стать настоящим полноценным специалистом.

Сама атмосфера нашей студенческой жизни говорила о многом. В общежитии, например, как-то вдруг образовался философский кружок, где доклады участников на разные темы – скажем так, не слишком сочетавшиеся с марксизмом-ленинизмом – завершались чтением стихов и прослушиванием поставленной на проигрыватель пластинки с классической музыкой (правда, прошло всего лишь несколько заседаний, поскольку недремлющая комсомолия не допустила продолжения его деятельности, – но сам факт его возникновения показателен).

Страдать от скуки не приходилось. Скажем, привыкнешь к тому, что один из четырёх обитателей комнаты общежития – всегдашний молчун, а зацепишь его чем-нибудь, вызовешь на разговор – он закатит целую лекцию по истории русского флота. И разве не достоин внимания такой эпизод: однокашник из нашей группы, местный житель, Эдуард Суженис мог запросто пригласить когонибудь к себе домой и одарить собственным исполнением на фортепьяно «Лунной сонаты» Бетховена.

Не удивительно и то, что в тумбочке рядом с моей кроватью полёживал, был всегда под рукой карманный томик Пушкина. При случае я мог открыть его на любой страни-

це и покориться свободному бегу коротких строк волшебной пушкинской речи – строк, оставленных поэтом в начале прошлого века и, – несмотря на то, что мир с тех пор неузнаваемо изменился, – сильно задевавших струны души моей – человека, совсем уж не похожего ни на кого из живших во времена поэта.

И происходили со мной вещи забавные. Бывало, одноклассники мои, сожители по комнате, давно уже видят сны, а я не могу уснуть, слезаю с кровати, нашариваю в тубочке ручку и свою заветную тетрадку, тихонько перемещаюсь к окну, выходящему во двор, и при слабом свете наружного фонаря царапаю на бумаге строчки, вроде этих:

Ветви ив, склонясь, купаются в воде,
Бусы капелек сверкающих надев.

Стихи я начал писать ещё в школьные годы. Как это бывает со многими? Влюблённость в одноклассницу рождает душевную смуту и хочется то ли песню петь, то ли вспомнить знаменитые стихи о любви – и всё это толкает доверить чувства свои бумаге опять-таки стихами.

А теперь это стало похоже на заболевание юнца, голова которого, казалось бы, напрочь забита высшей математикой, замечательными схемами начертательной геометрии, покоряющей трёхмерное пространство, и прочими довольно сложными и грандиозными по объёму – в сравнении со

средней школой – предметами.

Наш вуз был практически мужской по составу, и жизнь наша в некотором роде похожа была на бурсачество – так что на первых порах нам было не до вздыханий. На всём потоке – а это семь групп в среднем по 20 человек – девушек насчитывалось единицы и прекрасная половина человечества не становилась помехой в учёбе.

И в этих стихах своих я вспоминал то, к чему привык с детства, скучал по родине, по настоящей снежной зиме, которой здесь не было, – вместо снега ветер порой гонял по улицам клубы жёлтой песчаной пыли. Задумываться о том, что мои стихотворные опыты могут оказаться где-то ещё, кроме моей тетрадки, – у меня и в мыслях не было.

А между тем в какое время все мы жили!

Там, на Севере, в столицах уже вовсю гремели имена новых поэтов. В тихий южный город, в котором так или иначе жизнь была подчинена хорошо налаженному производству, доходили лишь отголоски. Тем не менее Николаев оставался частью огромной страны, во всех уголках которой неизменно появлялись в продаже издаваемые сотысячными тиражами книги – и среди них новые, те, о которых раньше и мечтать было бесполезно. Так я приобрёл том Есенина (между прочим, книга эта в четыре сотни с лишком страниц, содержащая почти все стихи поэта, стоила тогда 9 рублей 75 копеек – то есть меньше рубля новыми деньгами – а стипендию мы получали 450 рублей в месяц).

Читал я запоем и несколько дней пребывал в каком-то чадуду... Нет, для меня это были даже не стихи – это была музыка, это были песни, которые хотелось петь, и одновременно это порой были картины природы и жизни, так хорошо мне знакомые и вместе с тем поражающие чем-то особенным. «О тихом вечере задумалась дорога...» Такое написать мог только волшебник. Сборник проглотил я единым духом, потом снова читал – ещё и ещё. И некоторые строфы, а то и целые стихотворения, сами застревали в памяти – я бормотал их про себя, и мне начинало казаться, что стихи эти никто не сочинял, что я уже раньше знал их и теперь они просто есть такая часть моей жизни, как биение сердца, как дыхание... Да, это было полное сумасшествие.

Что и говорить, для человека, являющегося студентом технического вуза, это была некая странность. И тут вышло такое дело, что по странностям я не оказался в одиночестве!

По случаю заглянув к соседям ниже этажом в общежитии, я стал свидетелем такой картины: полёживая на кровати студент с худым лицом и весьма выдающимся носом, уткнувшись в книгу, – и читает «Три товарища» Ремарка... в оригинале, на немецком, совершенно свободно – без словаря!

Это был Виктор Гурский – русский немец из-под Оренбуржья, который в дальнейшем стал моим другом. Для того чтобы нам подружиться, были свои причины.

С первых шагов нашего знакомства он огорошил меня

формулой, напоминающей постулаты философии стоиков: «Надейся на худшее, а будет лучше – тем лучше.» Мы быстро сошлись на любви к чтению, стали обмениваться книгами – и как раз с его стороны были мне сюрпризы. Вот без всякого повода и без каких-либо поползновений с моей стороны – он взял да и подарил мне том Бунина. Это имя я узнавал впервые.

Я принялся читать – и словно погрузился... в своё прошлое.

Бунинская проза стала для меня не просто открытием, но ещё и волшебным средством мгновенного – стоило лишь открыть книгу – возвращения на родную землю, возвращения к тому, что я сам видел или испытал. Его феноменально короткие – их даже новеллами не назовёшь – зарисовки, такие как «Журавли», «Летний день» – приводили в изумление и обращали память к тому, с чем я, его земляк, человек третьего от Бунина поколения, был так или иначе знаком – пусть с годами даже в несколько изменённом виде. А уж что касается языка, народной речи...

В рассказе «Божье древо» речь своего героя Бунин охарактеризовал так: «Говор старинный, косолапый, крупный.» Вышло так, что для него, Бунина, он уже был «старинный», но оказалось, что говор тот был и мне знаком! Хотя детство моё совпало с войной, эту речь, можно сказать, я слышал с пелёнок (встречались, например, исчезновение согласной в конце глагола: *идё* вместо *идёт*; замена гласной *e* на *a*: *табе*,

сабе, таперь; отсутствие среднего рода, который переменяется на женский: *одна баловство* и т. д.). И теперь, читая рассказ, всё это я узнавал в говоре Якова.

– И чего только не бывает на свете... – как-то, смеясь, сказал Гурский. – Кто бы мог подумать, что повезёт свести знакомство с земляком Бунина!

Этот мой собеседник обладал превосходным чувством юмора, и часто его язвительные реплики попадали в самую точку. Когда я решился показать ему мои стихи, он изругал их и объявил, что они сильно «попахивают Есениным». А однажды он и вовсе сразил меня, подсунув для ознакомления откуда-то вырванные три странички, исписанные его ровным, отчётливым почерком, где каждая буква стояла отдельно, словно напечатанная. То, что в трёх страничках содержалось, – крепко брало за душу: скупыми, короткими фразами была очерчена неприкаянность двух одиноких существ, оказавшихся в степном посёлке Предуралья – старика-ссылного из Прибалтики и невесть откуда взявшегося верблюда.

– Из этого вышел бы отличный рассказ, – сказал я.

– Ага, – усмехнувшись, ответил он. – Вот Бунин написал бы, это точно.

– Да ведь начало уже тобой написано, почему же не продолжить?

– Ну уж нет. Мне это ни к чему, – подвёл он черту. – Хочешь – дерзай сам, переходи на прозу. Дарю.

Что случилось с этими, кочевавшими потом в моём чемодане, страничками через много лет – о том разговор впереди. А пока мы оба успешно грызли науку и эти временные переключения в другую – гуманитарную – область никоим образом не служили помехой в учёбе. Напротив – они освежали мозги для других занятий.

Нечаянная встреча с «Пушкиным»

Казалось бы, молодому человеку, сразу после десятилетки поступившему в вуз, окончившего его и получившему прекрасную профессию, положено погрузиться в неё с головой – и, таким образом, обрести своё место в жизни.

Для меня сей идеальный сценарий развивался с приключениями. И тут дело не столько в том, что влияли на это непростые жизненные перипетии, в которых всегда есть своя *история с географией*, – это бывает со многими. В моём случае дело уже начало осложняться своего рода болезнью: я продолжал писать стихи.

В итоге довольно непростых жизненных происшествий оказавшись в славном городе на Неве, обретя должность инженера-конструктора в проектно-институте судостроительного профиля и в житейском смысле не имея ничего кроме съёмного жилого помещения, молодой специалист чувствовал себя не в своей тарелке и трудился без особого энтузиазма – скорей по обязанности.

Однако очарование жизни состоит в том, что она непредсказуема и время от времени подбрасывает сюрпризы, свойство которых ничем другим нельзя объяснить – только везением: при первом же нечаянном знакомстве с молодым соседом по коммуналке выясняется, что он тоже пишет стихи да ещё с восторгом приглашает в поэтическую студию при

доме культуры!

Где и как это было – мной достаточно подробно описано в моём автобиографическом романе. Здесь стоит лишь упомянуть, что общая тетрадь моя, заведенная ещё в студенчестве изредка пополнялась стихами, хотя самому этому процессу я по-прежнему не придавал значения.

Ах, какое это было время – замечательные шестидесятые, принёсшие надежды на что-то новое, на перемены к лучшему!

Вообрази, читатель, молодого инженера в возрасте двадцати трёх лет... Конструкторская работа в проектно-отделе института в небольшой комнате – день за днём, которые складываются в недели, недели – в месяцы... ежедневное общение с чертежами, графиками, цифрами порой заедает, действует на нервы... а тут вдруг неожиданная командировка в Мурманск летом 1962 года!

Работа института по решению проблемы непотопляемости морских судов требовала изучения некоторых аспектов из практики плавания нашего рыболовного флота в Атлантике. Я был включён в состав небольшой группы, отправлявшейся на Север – туда, где мне бывать не приходилось и о чём я имел смутное представление.

Новые впечатления ошеломили. И Карелия, даже всего лишь увиденная в окошко поезда, и Мурманск с неуходящим за горизонт солнцем. Эта командировка подарила ещё и очарование городом моряков, обрушившим на «кабинетно-

го сидельца» простую истину: вот он, есть, существует другой мир жизни пусть и непростой порой, но настоящей – суровой и прекрасной.

Всё это не могло не повлиять на умонастроение сотрудника института, возвратившегося «на круги своя». Я не мог успокоиться. Эхо мурманских дней настойчиво отзывалось в душе. И однажды в ней словно прорвало запруду – и две с лишним недели, каждый вечер засиживаясь за столом до поздней ночи, я исписывал страницы новой тетради. И откуда что взялось? Ведь ни сном ни духом раньше я не помышлял писать о чём бы то ни было.

Вот так неожиданно, забыв о стихах, я погрузился в прозаическое повествование, в котором Город Моряков не отпускал меня, владел мной, вмешивался в моё лихорадочное писание.

Сидя в своей съёмной каморке (в этой квартире она была крошечной, расположенной у всегда закрытой двери на чёрную лестницу, – вероятнее всего в старые времена она была жилищем какой-нибудь прислуги), я воображением переносился на Север, находил себя за работой в рыбном порту и слышал орущий на всю гавань висящий на столбе динамик:

– Чернышевский! Земснаряд Чернышевский! Дайте возможность Пушкину подойти к причалу! Земснаряд Чернышевский! Чернышевский! Дайте возможность Пушкину подойти к причалу!

Именно так происходило регулирование передвижений

плавсредств в тесном пространстве бухты – и я не смог побороть искушения и не повторить команду вездесущего громогласного вещателя в своём повествовании. Не мог никак я забыть тот громовой клич и самую атмосферу, в которой существовали «Пушкин» в виде пассажирского теплохода или, например, в гостинице моряков, в которой я жил, вид бородатого молодого рыбака с книгой в руках (это был роман «Зависть» Олеси).

Каков был ближайший результат моих творческих усилий – о том разговор впереди. А теперь стоит сказать о том, какой неожиданный отзвук мурманской эпопеи обнаружился позже.

Но всё по порядку.

Неукротимая отвага молодости делала своё дело: машинописную копию своей повести я отослал бандеролью... в «Новый мир». Как я узнал потом, поступавшую в журнал прозу курировал его сотрудник Георгий Владимов. Что и говорить,opus мой был несовершенен – и какой-либо реакции со стороны редакции не последовало.

Но какой сюрприз ожидал меня через какое-то время!

Прошло, наверно, года два – и в «Новом мире» был опубликован роман Владимова «Три минуты молчания». Читал я его захлёб и с ощущением чего-то очень мне знакомого. В нём во всей красе восставал он, город моряков – Мурманск. И среди прочего автор – точно так же, как и я когда-то – сделал акцент на такую подробность: со знакомыми призывами

вовсю орал над бухтой динамик:

– Буксир «Настойчивый»! Переведите плавбазу «Сорок Октябрей» на двадцать шестой причал!

Тут, грешным делом, я подумал, что – как мне когда-то, засидевшемуся конструктору, – литсотруднику «Нового мира» остобрыдло сидение в редакции. А тут ему, видимо, довелось познакомиться с моим очарованием заполярным городом и романтическими восторгами Севером и рыбаками. И он загорелся феноменальной идеей: выхлопотал отпуск, рванул в Мурманск, чтобы простым матросом на рыболовном траулере отправиться в Атлантику добывать селёдку (потом я узнал, что с отпуском и плаванием именно всё так и было). И отправился он инкогнито – с ясной целью: обрести материал для романа.

Какое же чувство я испытал от этой догадки?

Ну да, что-то вроде белой зависти к тому, как здóрово у него это получилось от возможной моей «подсказки»! Одно то уже было замечательно, что написанное мной как-то заинтересовало опытного журналиста и побудило его отважиться на далеко не простую вещь: бросить своё дело и на долгое время с потрохами погрузиться в суровую жизнь рыбаков. Итог всего этого получился феноменальный: явился новый литературный герой, этот его Сеня Шалай – своеобразный тип, очень живой и вполне узнаваемый. И если уж и вправду тут какую-то – пусть ничтожную и, что называется, шапочную – роль сыграла моя рукопись, теперь я мог только гор-

даться тем, что нечаянно помог Владимову родить шедевр. «Три минуты молчания» сделали настольной книгой каждого моряка.

Приключения неофита

Но вернёмся к моему первому прозаическому опыту – к самому началу, к тем первым событиям, последовавшим за завершением моей повести.

Ещё не успел я остыть от вечерних сидений за столом в моей каморке, как вдруг свалилась на меня неожиданная удача, которой помог случай совершенно невероятный – в чём сказалось опятьтаки преимущество обитания в коммунальной квартире: сердобольная соседка, пожилая женщина, прознавшая о грехе сочинительства молодого съёмщика жилья, подсказала, куда ему следует направить свои стопы. И это завершилось таким вот образом...

В угловом доме – в виду Адмиралтейства и Дворцовой площади – то есть в самом начале Невского проспекта, в комнате с большим, покрытым зелёным сукном, столом я читал свою повесть на предмет вступления в литобъединение при журнале «Нева». Слушала меня добрая дюжина начинающих прозаиков – разношёрстная публика: люди разных возрастов, профессий, разного жизненного опыта (похоже, я оказался среди них самым молодым). Естественно, от всего этого я сильно волновался и, когда закончил и началось обсуждение, не мог в точности уяснить себе, чего было больше: похвалы или критики, – но приняли меня в свои ряды единодушно. И уже в самый этот первый – знаменательный

для меня – день явились и первые странности.

В перерыве, в ходе приятных для новичка поздравлений, – этаким шустрым бесом – подкатывается ко мне разбитной малый и по-свойски выпаливает: «Ну ты даёшь! Насобачился! Под Пруста лепишь?» Я растерялся – уж не розыгрыш ли? Из тех, что бытуют, быть может, в этой новой для меня среде... И стыдно стало: книг через мои руки прошло достаточно, о самом Прусте читал лишь какую-то статью, а из прозы его не читал ни строчки. Откуда же взяться в моём тексте Прусту? Что за мистика?

Бойкий эрудит, значительно поплёскивая взором, ждал ответа, и я, поборов замешательство, честно признался, что Пруста не читал. Настырный вопрошатель изумился – он мне не поверил! – и панибратски хлопнул меня по плечу: «Ну, старичок, – тогда ты просто гений!» И отошёл с победоносным видом – весьма довольный, что поставил меня на место.

От этого удивительного происшествия как-то нехорошо сделалось у меня внутри, но это сгладилось тем, что мне в самом деле выпала удача и я стал одним из тех, кто ступил на путь словотворчества под крылом известного на всю страну журнала. Отныне у новичка, таким дурацким способом произведенного в «гении», началась двойная жизнь: служба – где он ни словом не заикался о происшедшем – была отдельно и ежевечерние сидения за столом над листом бумаги и посещения регулярных собраний вокруг зелёного стола в редакции «Невы» – тоже отдельно. И скоро неприятное

(обидно же, когда тебе не верят) впечатление от того эпизода забылось. Тем более что едва ли так уж плохо, если в твоих писаниях обнаружилось – без всякого твоего участия – нечто «прустовское».

В литобъединении собрались люди толковые, понимающие в ремесле литератора. Заседания, как правило проходили по одной и той же схеме: кто-нибудь из участников, дождавшись очереди, читал свою новую вещь – затем следовал коллективный разбор, на котором, бывало, автору крепко доставалось на орехи.

Руководил семинаром известный поэт Всеволод Рождественский. В наши дискуссии он не вмешивался, лишь изредка делая весьма существенные замечания. Для всех нас он был живым, сохранившимся осколком старой культуры – ведь он общался с Горьким, Блоком, Есениным... И, конечно же, всем хотелось услышать от него о тех легендарных временах и событиях, но, ко всеобщему сожалению «литовцев», руководитель наш не позволял себе пускаться в воспоминания об ушедших днях и деятелях искусства, которых на своём пути он повидал достаточное количество. Впрочем, вероятно, рассказы его об этом были не для всех ушей подряд. Мы прощали старику его замкнутость: вполне возможно, что жизнь приучила его к молчанию – и были благодарны ему уже за одно то, что в наших обсуждениях, спорах и разговорах сочетание слов: социалистический реализм – не произносилось, будто его никогда и не было...

Наши заседания в ЛИТО, как правило, были интересны, и я старался их не пропускать. Разумеется, литературные вкусы и пристрастия у всех участников не могли быть одинаковыми, но в практической работе со словом мы были скорее единомышленниками. И я был уверен, что здесь – в самом центре славного «окна в Европу» – общие интресы объединяют людей искренних. Мне казалось: каждый из присутствующих понимает, что мы не просто занимаемся «складыванием» из слов определённых «картин жизни», но пытаемся разгадать – не только у нас, но и по всей земле, – почему и зачем живёт человек и всякая другая тварь, почему и как растёт дерево или трава... что персонажи, появляющиеся на страницах наших творений, не могут быть полностью выдуманы, подобно сказочным героям, но, равным образом, не должны быть списаны с натуры один к одному.

Конечно, изложенное выше связно сформулировал я гораздо позже, но тогда – будучи неопитом – я это, что называется, чувствовал пупом.

При всём том заметно было, что коллеги мои избегают тем, которые могли бы затронуть политику или идеологию, но, с другой стороны, ложь в их писаниях отсутствует, а техникой они вполне владеют. Правда, писания многих из них, пожалуй, были как-то холодноваты, лишены того чувства, которое в старину называли страстью.

Время шло. Минуло, наверно, около года, как я посещал это замечательное сборище – и тут улыбнулась мне новая

удача. В ходе шефства отдела прозы журнала над начинающими писателями редколлегией было просмотрено два с лишком десятка наших рассказов и отобрано из них для публикации четыре – и среди этих четырёх оказался и мой рассказ о молодой паре горожан, побывавших на Валааме (это был плод сильного переживания от посещения острова).

Но какой сюрприз уготовила мне коварная фортуна!

Тут следует отметить, что я ещё оставался хронически наивным в каких-то простых житейских вещах, в которых большинство людей ориентируются в два счёта. И трагикомический случай не заставил себя ждать – со всей фатальной неизбежностью произойти всё должно было именно со мной и ни с кем другим из нашей группы.

На одно из очередных заседаний явился наш куратор, сам заведомом прозы Хренков Дмитрий Терентьевич. Ничего необычного в этом посещении как будто не было – правда, для прочтения привёл он с собой пожилого человека, фронтовика, написавшего рассказ. Известное дело, если вагон цепляют к паровозу, он едет туда, куда повезёт паровоз – смыслённые люди такие вещи понимают сразу. Теперь речь шла не о приёме нового члена – начальство в том не нуждалось. Как я позже узнал, требовалось формальное одобрение рассказа со стороны ЛИТО, с тем чтобы в пожарном порядке включить его в список публикуемых от объединения произведений. Надо думать, об этом так или иначе догадались все «литовцы», кроме меня! Да ведь как не сообразить – с

начальством просто так не приходят...

О чём же думал я в столь знаменательный момент? Ничего особенного не помещалось в моей голове – я был настроен исключительно на деловую волну: вот сейчас, как обычно, нам будет прочитано литературное произведение и мы разберём его достоинства и недостатки. Десятки раз выполнявшаяся и уже ставшая привычной работа, надо наострить внимание – только и всего.

И мы услышали довольно беспомощное в литературном отношении повествование на военную тему – о разведчике, ходившем в тыл врага. Когда автор закончил, в комнате повисла жуткая, тягостная тишина. Выступить впереди всех я не собирался – кто я такой, чтобы лезть вперёд? Ведь среди нас старожиллов хватало для этого – им и карты в руки. Но тут стало всем понятно, что начинать в такой ситуации ох как тяжело и никто не хотел быть первым. Я просто кожей ощутил эту тишину – её неловкость и неестественность – и тяжесть сказать правду автору – немолодому, прошедшему войну, человеку – в этот миг я думал только о нём. Но вот же максимализм молодости: литература – святое дело! Истина – прежде всего, как бы горька она ни была! И пришла эта минута, когда я – просто физически не вынесший этой ужасной тишины – начал говорить первым: прежде всего сказал, что я, как представитель молодого, не видавшего войны поколения, склоняю голову перед фронтовым опытом автора и содержания рассказа даже касаться не имею права, но...

По части чисто литературных достоинств (тут волей-неволей я всё же старался смягчить определения) рассказ получился маловыразительным, слабым. Заглядывая в свой рабочий блокнот, я приводил записанные во время чтения цитаты из рассказа, чтобы как-то аргументированно обосновать свой вывод, и, кажется, короткая речь моя прозвучала убедительно. Словом... выступил я полным и законченным идиотом.

Ну а того, что стряслось вслед за этим, скорее всего не ожидал никто: ни завотделом, ни сами «литовцы», ибо люди они были хоть и тёртые, да всё же – в соответствии с тем, чем они занимаются, – эмоциональные, увлекающиеся. Естественно, слово взяли не все (были отмолчавшиеся), но те, кто принял участие в обсуждении после меня, дружно... разгромили произведение незадачливого автора.

Ах ты, Господи, – что тут сделалось!

Здесь надо сказать, что тут определённо подлила масла в огонь моя несносная молодость, от чего порой приходилось страдвать: по внешнему виду я не тянул на человека, у которого уже вуз за плечами, и во всей группе начинающих литераторов выглядел нахально и беспардонно юным. В каком-то озарении я как бы увидел себя сейчас глазами журнального мэтра: щенок, подавший голос в неподобающем месте! Дело осложнилось ещё одним любопытным обстоятельством, открывшимся позже: будучи совершенно уверен в успехе, мэтр привёл к нам на читку своего знакомого! А произошла чудовищная нелепость: он – хозяин положения! –

подставил своего протеже под удар! И, главное: всё это случилось после словоблудия этого юнца, спровоцировавшего других к нападкам. От таких дел можно свихнуться...

После всего завождем не счёл нужным, а скорее просто не смог скрыть обуявшей его беспредельной ярости. С побагровевшим лицом, весь свой начальственный гнев он обрушил на невесть откуда взявшегося – похоже, он и лицезрел-то меня впервые – молокососа.

Главного результата этой истории долго ждать не пришлось: спустя считанные дни мой рассказ был мне возвращён из редакции – как «не отвечающий требованиям», хотя до этого, когда его отобрали для публикации, он им «отвечал». Мне дали понять, что, как говорится, не зная броду соваться в воду – чревато неприятными последствиями. Дошло до меня, телёнка, что я грубо нарушил некие священные правила игры. Ну, а уж если я сам по натуре не игрок, оставалось одно – уйти. Что я и сделал.

Получалось, что сам я кругом виноват. Но, с другой стороны, что хорошего можно ожидать там, где профессионал, ведущий прозу в одном из центральных журналов, без всякого стеснения – перед людьми достаточно уже искушёнными в писательстве – может горой стоять за неоспоримо слабый текст? Где человек, самым своим положением обязанный заботиться об истинном творчестве, не боится и даже не стыдится откровенной его профанации? Допустим, «литовцев» он мог ни во что не ставить... Но не уважать себя?!

Словом, сознавая, что мне уже ничего не светит там, где качество прозы имеет значение второстепенное, а куда важнее «волосатая рука», – я посчитал невозможным для себя продолжать участие в работе литобъединения даже в этой, как будто не такой уж и плохой, компании. И решил тут я сделаться «свободным художником»: писать что хочу и как хочу и предлагать свой труд различным изданиям – а там профессионалы сидят, пусть они и разбираются. Такая вот, видите ли, «серьёзная» программа, совсем не учитывающая реальность, в которой присутствовали не имеющие отношения к истинному творчеству нравы – не только в этом, отдельно взятом, журнале.

Волка ноги кормят

Жизнь продолжалась. Ни служба, ни то, что неизбежно приходит к годам, приближающимся к возрасту Христа, – женитьба – не могли повлиять на этого странного субъекта, ибо внутри него горел огонь, который он не был в силах погасить.

Эта напасть брать в руки ручку и записывать на подвернушемся предмете – будь то лист бумаги, обрывок газеты или даже трамвайный билет, – эта сделавшаяся привычкой тяга оставлять там что-то забрезжившее в голове порой настигала меня, где угодно: на службе, в транспорте... Она поднимала меня среди ночи, а в выходные заставляла прятаться от близких на чердаке дачи...

Мне – теперешнему – остаётся лишь с улыбкой оглянуться на то время и припомнить, как спутница жизни переживала мои мучения. С её – вполне объяснимой точки зрения – мои частые вечерние бдения за письменным столом (когда из-за этого, бывало, откладывались походы в кино или посещения каких-нибудь других развлекающих мероприятий) были неосновательны. Тем не менее, слава Богу, это не приводило к семейным баталиям.

Но при этом не слишком весело вспоминать *что* испытывал человек, который, вложив всю душу в исписанные, а затем перепечатанные на машинке, страницы, приносил ре-

зультаты своего труда в редакцию журналов (только, понятное дело, не в «Неву»).

Вот в одном из них происходит, например, такое.

После прочтения рукописи приглашают для разговора. Прихожу. Спрашивают:

– А вы вообще откуда?

До меня как-то не сразу доходит смысл вопроса. С улицы, говорю. Тогда смотрят на меня этак с иронией, головой покачивают.

– Непохоже... – следует многозначительная пауза, после которой припечатывают: – С улицы такие не приходят.

Изумлённый этим странным в нашем случае разговором и, даже занервничав, спрашиваю:

– А какие же приходят?

– Приходят совсем начинающие. А вы – наверняка член какого-нибудь...

– Ах, да никакой я не член! – с досадой говорю я, припомнив своё недолгое и бесславное пребывание в литобъединении «Невы» и заподозрив в этих странных речах какую-то игру, смысл которой был для меня тёмным. – Работаю в одиночку, дома.

И тут мне дарят доверительную улыбку: дескать, чего там темнить-то? Свои же люди. И с подчёркнутым удовольствием заявляют:

– Да все-е-е так говорят!..

– Знаете, не вижу смысла притворяться. И чем, собствен-

но, вызвано...

– Ну, хорошо, хорошо. Пусть так. Пишете вы грамотно. Но то, что вы принесли, – нам не подходит. Эта тема уже исчерпана журналом. Попробуйте предложить в другой...

Ещё не догадываясь, что со мной попросту играют *в футбол*, я посещал другую редакцию, а там всё начиналось с конца – как в той присказке о собаке, которая у попа была... У вас тут школьники, подростки, говорили мне, – это не наша тема, это, скорее, для журнала «Костёр» (то есть детский журнал).

Не обходилось без моментов довольно комических.

Однажды являюсь в помещение редакции, прохожу в коридор к уже знакомой мне двери. Напротив неё, на скамеечке, сидит в ожидании упитанный, круглолицый человек постарше меня возрастом. Ни словом не успели мы с ним обменяться – как его позвали. Своей очереди ждал я недолго. Толстяк вышел с улыбкой до ушей и, проходя мимо меня на выход, с видимым удовольствием изрёк: «Писателя – как волка – ноги кормят!» Для чего поделился он с пространством такой сногшибательной новостью – до сих пор не понимаю.

Ну, а уж я-то в очередной раз был «отфутболен» по известной схеме.

Подводя итог моих безрезультатных хождений, я прикинул: ни слова не говорят о недостатках – значит, дело в чём-то другом. Но в чём же тогда?

Увы мне, простаку, верующему в некие высшие помыслы. Причина была вполне элементарной, но открылась мне лишь через годы.

Из дальних странствий возвратясь

Это постоянное общение с белым листом бумаги было, можно сказать, неким *параллельным* по отношению к реальности существованием. А жизнь – с её всевозможными проблемами, семейными заботами, неустроенным жильём – текла отдельно. И тот огонь, мерцающий в душе молодого главы семьи, горел отдельно.

Однообразная работа, связанная с проектированием судов, становилась мне всё тягостнее. И снова в жизнь мою вмешался случай – без преувеличения счастливый: мой давний добрый знакомый, опытный профессионал-океанолог, Виктор Фукс предложил мне перейти в Университет на кафедру океанологии, где он сам работал. И его стараниями я был принят на равных в научную группу, которой он руководил. Таким образом я, как говорится, присоединился к славной когорте «водоплавающих».

Поскольку речь сейчас идёт о другом, оставим связанные с таким серьёзным делом подробности. Упомяну лишь, что в течение двух последующих лет – с 1966-го по 1968-й – мне довелось участвовать в учебном (для студентов) рейсе на Балтике и в двух международных океанографических экспедициях по исследованию тихоокеанского течения Куроисио, а в 1969-м мы работали у берегов Мексики и в центральной части Тихого океана.

Во всех этих странствиях я вёл записи и, возвратясь домой после последнего рейса, решил, что просто нельзя не написать о посещении – пусть даже по-рабочему коротком – тихоокеанских островов, своей известностью обязанных великим географическим открытиям – особенно такого острова как Таити.

Мои записи, мои впечатления человека XX-го века – это одно, сказал я себе. Но до этого писали о чудесах Южных морей и Джеймс Кук, и Беллинсгаузен, и Поль Гоген, и, в конце концов, Эльза Триоле (известная как сестра Лили Брик) – невозможно игнорировать эту замечательную компанию. И я засел в центральную университетскую библиотеку, перечитал их всех.

За время длительных плаваний и долгого отсутствия я совершенно отрешился от никуда не девшихся, существующих реалий. И результат моих нешуточных усилий – очерк об острове Таити, – начисто позабыв о старом происшествии (уж лет восемь с тех пор прошло), я принёс в журнал «Нева». Оставил, впрочем, с недобрим чувством, ибо прежние бесплодные хождения по редакциям не забывались.

И тут вот что произошло.

Когда я через неделю позвонил в «Неву», редактор отдела публицистики позвал немедленно к нему явиться. И едва я вошёл в небольшую комнатку, вскочивший из-за стола человек с сияющим лицом пошёл ко мне навстречу, подал руку и принялся восклицать: «Очерк просто великолепный!

Ни убавить, ни прибавить! Будем готовить в ближайший номер!»

Будучи внутренне готовым к прежним – таким привычным – разговорам, теперь я просто оторопел, смутился, растерялся и не знал, как себя вести.

И в самом деле что-то сдвинулось: уже началась работа (в архиве моём сохранились первые страницы редакционной машинописной копии). И что же?

Прошли считанные дни и работа была остановлена. И мой «великолепный» очерк был возвращён мне с извинениями и сожалениями. Не помню, чем объяснил этот внезапный разворот на 180 градусов прячущий глаза редактор, но дело было, похоже, ясное: Хренков из редакции никуда не девался и, наверно, к этому времени уже исполнял обязанности главного редактора. Можно себе представить, что с ним сделалось, когда увидел он мою фамилию – уж её-то он точно забыть не мог!

С тяжёлым чувством я пережил эту неудачу. Вообще пропало желание предлагать мою писанину кому-то ещё. Очерк был заброшен в ящик стола (благо что стол сей был не чужой, а принадлежал, наконец, мне, расположившемуся в своём «кабинете», при помощи серванта выгороженном в углу гостиной нашей двухкомнатной кооперативной квартиры, в которую мы въехали в том году) – брошен, чтоб покоиться там многие годы, поскольку реальная жизнь и в самом деле протекала отдельно, заставляя надолго покидать семейное

гнездо: в дальнейшем в составе научной группы я участвовал в международной океанографической съёмке Калифорнийского течения (1972) и два летних сезона – в экспедиции по гидрологическому обеспечению рыбного промысла на острове Шикотан (1973, 1975).

Но забытый несчастный мойopus дождался своего часа. Однажды, совершенно случайно, мой коллега-океанолог Пётр Губер, с которым мы вместе отмотали не одну тысячу миль морских дорог, активно вмешался в его судьбу – и очерк был опубликован – спустя почти десятилетие после того, как он был написан! – в столичном ежегоднике «На суше и на море» (1978). И этот сборник удостоился напечатанной в «Огоньке» рецензии космонавта Виталия Севастьянова, из которой принёсший её мне Пётр с довольной улыбкой прочёл: «Удачей альманаха можно назвать наличие в его составе обогащающих воображение и разум читателя дневников и путевых очерков...»

– Смотри, – он показал пальцем тот абзац мне. – В перечислении твой очерк стоит первым!

Позднее в том же ежегоднике появился ещё один мой очерк «К тёплому Куроисио». (Спустя время, он был переведен на грузинский и включён в сборник, вышедший в Тбилиси в издательстве «Сабчота Сакартвело». Были присланы по почте: экземпляр книги, гонорар и любезное приглашение посетить Тбилиси. Обо всём этом я узнал, увы, из письма жены во время моего очередного пребывания на Шико-

тане, что, разумеется, исключало возможность откликнуться на приглашение. Уже воротясь домой, я открыл присланную книгу и мне стало очень тепло оттого, что я видел своё имя, набранное причудливой грузинской вязью и что написанное мной переведено на язык, на котором писали Тициан Табидзе и Паоло Яшвили).

Да, это была удача, которую подарил мне мой друг. Однако она ничего не изменила в моих дальнейших попытках публиковаться в городе, в котором я жил. Всё это ярко проявилось в истории одного моего рассказа.

«Москва – она широка, брат...»

Эта фраза, весело произнесённая Петром, вспомнилась мне, когда произошла она – эта самая, упомянутая выше, история.

Но прежде надо вернуться к началу.

Жить в этом городе и не знать, какому ужасному несчастью подверглись его мирные жители во время войны, – было невозможно. Кажется, он стал единственным городом в мире, для которого столь жуткий смысл приобретало это слово – *блокада*.

И вот читаю в журнале рассказ одной экзальтированной дамы о той ужасной – первой блокадной – зиме. Там у неё замученная голодом девочка идёт по замершему, погружённому в лютую стужу, городу – идёт себе по улице, видит покрытую ледяной корой, как панцирем, стену здания и, придя в умиление, *любуется* этой красотой...

У меня заперло дыхание. Выжившим, помнящим ужасы блокады, лёгкой рукой малевать такие «акварели»?! Да ведь это – эстетическая и какая угодно ложь!

Я не мог успокоиться. Негодование толкнуло меня на поистине отчаянный шаг: *самому* написать на блокадную тему, рассказав правду об ощущениях потрясённого голодом детского организма. Блокады пережить мне не довелось, но что это такое – голод, особенно для ребёнка, – уж это я хорошо

знал, не понаслышке.

Принялся писать я с внутренней дрожью – мной владело чувство сапёра, который ошибается только раз. Я не мог позволить себе ни единой – даже самой малой – фактической неточности, не мог допустить ни одного небрежного, приблизительно передающего смысл, слова. И, прежде чем предлагать готовый рассказ в печать, – я показал его нескольким блокадникам. Делал я это для себя, для своей совести – исключительно из боязни пропустить ошибку, в чём-то соvrать. И со страхом ждал приговора: если кто-то взбунтуется – будет чем растопить буржуйку на даче...

Но получил я замечательные и даже благодарные отзывы! И конечно был водушевлён. Ведь это была несомненная творческая победа, если на таком суровом материале мне удалось не погрешить против правды. И при всём том, показывая переживания мальчишки, оставшегося с матерью в ледяном осаждённом городе, – я сумел сказать нечто сокровенное, своё, никем ещё не названное – то, о чём я нигде не читал и не слышал. Это было своего рода небольшое открытие: я показал, как оголодавший мальчонка (организм которого – в отличие от взрослого – должен расти, непрерывно строить себя, умножать клетки и властно, жестоко требует питания), как отощавшее тело его ощущает и переживает изматывающее чувство голода. Собственно, именно оно, это чувство, выворачивающее наизнанку слабую душу ребёнка, – и оказалось неким смысловым акцентом рассказа.

Судьба этого моего детища оставалась неутешительной ещё и, как видно, потому, что я периодически и надолго исчезал из городского пространства, не будучи в силах повлиять на рассмотрение моего труда – ведь на пути к публикации те, от кого это зависит, почему-то больше любят личное присутствие автора, чем вглядывааться в то, что им написано. И когда я в очередной раз появлялся в городе и пытался достучаться к представителям мира печатного – это неизменно заканчивалось ничем.

Итог был печален. Несчастный мой блокадный рассказ, то теряясь, то находясь и снова возвращаясь к автору, блуждал по разным редакциям... почти четыре года! (Ах, читатель! Глупый автор *из патриотизма* упрямо хотел, чтоб напечатан он был непременно в городе, перенёсшем ужасную трагедию.) И в конце концов дело дошло до курьёза. На очередном этапе ненужность публикации была мотивирована тем, что в «Блокадной книге» Гранина и Адамовича уже *всё сказано*. Но тут вышла неувязка: помимо того что *всё* может сказать только Бог, рассказ мой был написан раньше да и в той замечательной книге нельзя было найти нечто, содержащееся в моём рассказе.

В таких делах бесполезно что-то доказывать. Вспомнилась мне шутка Петра, что в редакциях «сидят, своих обслуживают». А может, и вправду так?

Убедившись в который раз, что меня водят за нос, во время телефонного разговора с литсотрудником журнала «Ле-

нинградский альманах», я изъявил желание забрать своё детище. После какой-то паузы выяснилось, что в редакции его почему-то уже нет – и мне было предложено обратиться в отделение Союза писателей на улице Воинова. В полном недоумении, какого чёрта небольшая рукопись могла залететь к писателям, к коим её автор не принадлежит, – я отправился в их резиденцию и застал в том уютном доме странную суматоху: оказалось, накануне у его обитателей была приятная – и, похоже, весёлая – поездка по области. Группа творческих работников только что воротилась из неё, переполненная впечатлениями.

В какой-то комнате, заваленной рюкзаками, сапогами и всяким походным снаряжением, весёлый молодой человек едва отыскал злосчастный мой опус, обнаружившийся почему-то в кипе разрозненного хлама, брошенного на столах. Как он здесь оказался, ничего вразумительного никто сказать мне не мог.

Вспомнив булгаковское выражение: «рукописи не горят», я был доволен уж тем, что они исчезают не насовсем.

Уже на улице, на подходе к Дому писателей, попался мне навстречу скуластый человек в очках, всем видом своим во все стороны излучающий флюиды счастья: глаза его вместе со стёклами сыпали искрами, он бодро мурлыкал какую-то песенку и, как мальчишка, как-то даже подпрыгивал на ходу, чуть ли не в пляс пускался – словом, он был потрясюще весел, доволен жизнью, которая, как видно, складывалась

у него весьма удачно. Казалось, от избытка чувств он готов был расцеловать первого встречного – да вот хоть бы и меня.

Я узнал его: это был широко печатавшийся автор и, в отличие от героя известного анекдота, настоящий чукча-писатель, который удачно попал в идеологическую струю, ибо малым народам у нас везде дорога. Пронёсся он мимо, как весенний ветер, ласкающий тундру, а я лишний раз ощутил себя недотёпой – полным неумехой устраивать свои литературные дела.

Шло время, вместе с другими блокадный мой рассказ был похоронен в ящике стола, но именно о его судьбе я печалился больше всего. Вопрос его публикации стал для меня делом чести.

Воспользовавшись служебной командировкой в Москву, я прихватил его с собой, решив обратиться в отдел критики «Литературной газеты», с тем чтобы, наконец, выяснить, кто тут прав – автор рассказа или те, кто отказываются его публиковать.

И вот – с бьющимся сердцем, держа в уме номер комнаты, который мне назвали на проходной, – я поднимаюсь в лифте на шестой, последний, этаж редакционного здания и попадаю в огромное, как спортзал, похожее на чердачное, помещение, по сторонам разгороженное на отдельные «комнатки» – этакие, как в пушкинском лицее, кельи с фанерными, не достигающими потолка, перегородками.

Подхожу к одной из них с нужным мне номером – оттуда

столбом возносится к потолку сизый дым, будто кто-то внутри разложил костёр. Стучу – «Входите!» – открываю дверь и вижу: справа за столом, у пишущей машинки, сидит худощавый, черноволосый человек, с аккуратно подбритой от висков к подбородку, щеголеватой чёрной бородой, и, не выпуская изо рта нещадно дымящую сигарету, что-то печатает – бьёт по клавишам. Не отрываясь от своего занятия, спрашивает:

– Что у вас?

Я объяснился как можно короче.

– Привезли с собой?

– Да.

– Покажите.

Я протянул рукопись. Бородач, попыхивая сигаретой, заглянул в начало на первой странице. Пролистнул. Задержался на секунду, полистал ещё в том же духе и открыл последнюю – всё это заняло, должно быть, минутудругую. В таком темпе он просмотрел мой десятистраничный рассказ, в работе над которым мне нелегко давалась каждая фраза!

Ознобный холод коснулся моей спины. Всё ясно как божий день: в столице своих забот хватает. *Москва слезам не верит...*

Сотрудник отдела критики сложил мои листочки, бросил перед собой на стол и, задумчиво глядя перед собой – будто прочёл он на перегородке невидимое решение, – как-то даже скучно и буднично произнёс:

– Это надо печатать.

Меня взяла оторопь. Я не поверил своим ушам – в эту минуту я просто не готов был услышать то, что услышал. Ведь за мгновение до того я был уверен: сейчас повторится то, что бывало уже не раз. Мне будет сказано нечто, подходящее к случаю – и я, как всегда бывало, молча повернусь и уйду. Ибо не в моих правилах ни отстаивать, ни доказывать что-то. Вот же и в питерских редакциях месяцами полёживали себе эти десять страничек и никто не обнаружил в них ничего стоящего – а тут на моих глазах полистать и сказать такое?!

В волнении я как-то не сообразил, что в этой келье сидел настоящий профессионал.

И то, о чём я так долго и бесплодно мечтал, – свершилось. Литгазета на своих страницах редко печатала прозу – мой рассказ «День до вечера» был передан в журнал «Смена», где вскоре и был опубликован. В тексте не было изменено ни единого слова (по цензурным соображениям было убрано лишь несколько строк, в которых говорилось о спекулянтах хлебом).

Это была удача, открывшая мне глаза: славный город, в котором я живу и которому предан всем сердцем, оказался не на высоте, а столица – в лице моего бородатого крёстного – показала широту своего характера и снова решила публиковать моё отвергнутое детище. Наконец-то мне по-настоящему повезло: судьба свела меня с литератором, для которого в его работе не существовало никаких других – посторон-

них – соображений, кроме одного – качества написанного. И этот человек, сидевший за пишущей машинкой в клубах сигаретного дыма, совершенно сразил меня мгновенной реакцией на текст и коротким безапелляционным приговором.

Это был сон, приснившийся наяву.

Но этим дело не кончилось. При следующей нашей встрече Владимир Коркин спросил, нет ли у меня к публикации ещё чего-нибудь написанного, и, услышав мой утвердительный ответ, сказал, что заниматься пересылкой по почте – дело долгое и что, если есть у меня такая возможность, проще привезти на экспрессе, а уж остановиться при случае можно и у него.

В моём деревенском прошлом, после войны, в нашей семье было в обычае иногда привечать приезжавших к отцу по служебным делам, и, бывало, они на день-два останавливались у нас. А тут мне подобную вещь запросто предлагал житель столицы. И через короткое время деловые взаимоотношения автора и литсотрудника газеты переросли в дружеские. Я привёз Владимиру рассказ «Мешок травы для кормилицы», который – по его рекомендации – был напечатан в еженедельнике «Литературная Россия».

Всё складывалось так, что для развития успеха надо было бы перебираться в Москву и делать, что называется, литературную карьеру. Но это было невозможно, ибо годы были потеряны – ушло то время, когда я был один и свободен. Теперь же: обременён семьёй, в которой двое детей; работой в Уни-

верситете, оставить которую было просто непредставимо.

Спустя много лет, мне ничего другого не остаётся, как с печалью вспомнить замечательного человека, с которым нельзя было расставаться. Но жизнь сурова, разводит людей не спросясь. Надвигалась перестройка. Жили мы тогда в разных городах, встречались, к сожалению, нечасто, а сумасшедшие девяностые и вовсе – выбросили меня из страны.

Отлучение

А тогда – с лёгкой руки Владимира – удача, казалось, не оставляла меня.

Московское издательство «Современник» предложило прислать что-нибудь для сборника. Я отослал три рассказа – из них был отобран к публикации «Тайфун».

Дошла до меня новость, что в издательстве «Молодая гвардия» готовится сборник современной прозы, в который вошёл и мой, уже опубликованный, рассказ «Мешок травы...» (позже я узнал, что Комиссарова, редактор будущей книги, заплакала при чтении и решила включить его в список публикуемых). *Что* я почувствовал, узнав об этом, говорить излишне. Но попутное ощущение, что теперь мне продолжает везти, – оказалось обманчивым.

С этим рассказом произошла другая история, показавшая, что в этом самом литературном процессе утвердившиеся нравы существуют повсюду – и в столице тоже, что в конечном итоге всё зависит от конкретной личности, находящейся «при исполнении».

Вскоре мне стало известно, что случилось несчастье: Комиссарова заболела, слегла и скончалась в больнице. Вести прозаический сборник теперь должна была некая Адель Ивановна, заместитель покойной.

Какое-то время я не решался звонить в издательство – не

было настроения. Славная женщина, вечная ей память, плакала, сердцем прочувствовала то, что передано автором. И это были не просто женские слёзы: по роду своих занятий – редакторства – ей конечно же доводилось много чего читать. Так что слёзы её – всё равно что драгоценные капли для автора. Можно ли ждать чего-то похожего от новой редакторши да и станет ли она перечитывать то, что уже собрано в будущую книгу, – вот вопрос.

Наконец, я позвонил, назвался, спросил о сборнике.

– Работаем, – был ответ. – Сейчас окончательно утрясается список включённых произведений, – и после паузы я услышал: – Знаете, ваш рассказ под вопросом...

– Разве? Да ведь он уже был включён Комиссаровой, о чём, кстати, запрашивало ваше издательство.

– Да, это так, но тут есть причины, по которым...

– Адель Ивановна, – я начал заводиться, – какие-такие причины? Рассказ, что ли, плох?

– Нет-нет, рассказ-то хороший...

– Так в чём же дело?

– Ну, вы понимаете... Сборник посвящён советской классике, там известные имена: Казаков, Нагибин... А вас, как автора, никто не знает...

В подобных ситуациях меня всегда подводил мой характер. Подвёл и на этот раз, захотелось крикнуть: «Так открывайте, чёрт вас дери, это новое имя! Для чего вы там сидите?!» Но вместо этого я в ярости бросил трубку, чем, есте-

ственно, «помог» новой редакторше решить проблему: из сборника рассказ мой был втихую убран.

Так я был *отлучён от классики*.

И тут мне открылось, что в моих контактах в разное время, с разными представителями печатного дела и по разным поводам, происходило нечто похожее. Вспомнил я, как однажды оставлял для ознакомления отрывок из моей повести «История одного детства» в ленинградском корпункте «Литературной газеты». Во время итоговой встречи собкор её Вистунов Евгений Иванович принял меня ласково. И от него услышал я следующее:

– Материал добротный. Некоторые наблюдения у вас здесь замечательные. Будь у вас имя – цены бы им не было. А так... Вынужден вам сказать: газета не заинтересуется.

Я онемел от удивления. И что сказать в ответ – не нашёлся.

Напоследок было мне некоторое утешение: издательство «Современник» включило отвергнутую «Молодой гвардией» новеллу в юбилейный сборник *лучших* рассказов «Литературной России», опубликованных в этом еженедельнике за четверть века; там моё имя оказалось по соседству с Платоновым, Булгаковым, Распутиным, Астафьевым, Шукшиным...

Это порадовало. Но что же дальше?

Всё происшедшее наводило на мысль, что подошло время, когда не следует возлагать надежды на отдельные публи-

кации и пора уже попытаться издать книгу, включив в неё уже напечатанные – не где-нибудь, а в столице! – рассказы. Должно же это как-то подействовать.

Это был год, совпадающий с названием известного романа Оруэлла – 1984.

Тщательно отбирая лучшее из того, что мной было написано за два десятка лет, я составил прозаический сборник из двухсот с лишним страниц – и позвонил в Лениздат. Литсотрудник, говоривший со мной, предложил принести рукопись, что я и сделал.

Через какое-то время, отвечая на мой звонок, он весьма тепло, благожелательно говорил со мной – и в итоге подвёл черту: с содержанием папки знакомимся, позвоните попозже.

А попозже я от него вместо теплоты вдруг нарвался на резкий тон и явное нежелание продолжать разговор. От всего этого я просто опешил (тут, забегаая вперёд, надо сказать, что сперва он числил меня членом СП, а, узнав про свою ошибку, пришёл в ярость). И когда, наконец, явился я в Лениздат выяснять ситуацию, произошло следующее.

К моему удивлению – должно быть, это было сделано в пожарном порядке, – беседовать со мной был налажен молодой человек. (Имя его мне было знакомо по журнальным публикациям. Это был юный поэт, а на прозу теперь он – видимо, за неимением в данный момент на месте других – брошен был, как, бывало, у нас горожан *бросали на картошку*;

он не был обделён талантом и был из поэтов так называемой «новой волны» – из тех, что только-только ощутили сладкий вкус жонглирования словами и звуками, где-то я уже читал его стихи по теперешней моде: с претензией на отчаянный модерн.)

И теперь вот он должен был толковать со мной на предмет, как я сразу догадался, не судьбы – а содержания моей книги.

С первых же его слов у меня явилось подозрение: он не оченьто хорошо знает *что* находится в этой моей папке. Было похоже, что *кто-то* попросту отрядил его на это дело, *дав указание*. И не его вина в том, что вот теперь он принуждён выдумывать бог знает что и нести какую-нибудь околёсицу, не имеющую отношения к существу дела.

Набрав воздуха в лёгкие, юноша начал издалека, но очень даже впечатляюще, этак щеголяя философскими терминами. После того как он произнёс слово *концепт*, лицо его приняла столь важный, торжественно-значительный вид, что я чуть не расхохотался – вот уж, когда ты молод да ещё ходишь в модернистах, от подобного, недавно узнанного, иностранного словечка сам себя на котурнах ощущаешь...

Но мне было не до смеха – и я прервал его плетение словес:

– Вы меня приняли за кого-то другого. Вот этот рассказ, например, который у вас в руках и концепт которого, по вашему мнению, не проработан, – напечатан в Москве, слово в слово, и, должен сказать, с прекрасными отзывами...

Собеседник выпучил на меня глаза – повисла немая гоголевская сцена.

– Ладно, не переживайте, – сказал я. – Я хочу говорить с вашим начальством.

Начальство – как только я появился в его кабинете – демонстративно показало незваному посетителю свою жуткую занятость: упитанный человек в роговых очках, сидя за столом, принялся листать какую-то рукопись, покровительственно бросив в мою сторону:

– Ну, вы рассказывайте – что у вас.

Начинаю говорить, но – видя, как важное лицо, почитывая, листает страницы, – нервничаю, сбиваюсь. «Да-да, рассказывайте, я слушаю» (а физиономия между тем всё время у начальства отсутствующая и оборвало оно меня посреди фразы). Настроение моё круто идёт вниз. Подойти, шаркнуть кулаком по столу, чтоб очки на лоб полезли? Напрасный труд... А начальство, видно, решило совсем уж меня доконать: похоже, оно – как в каком-нибудь боевике о грабителях банка – ногой нажимает где-то кнопку, потому что не просто входит, но внезапно, распахнув дверь, врывается секретарша. И по тому, *как* она здесь появляется, *как* разговаривает с начальством, *как* оно охотно и нарочито долго говорит с ней и *как* сама она не устаёт на меня поглядывать, – я догадываюсь, что я здесь совершенно лишний предмет и что кнопка, скорее всего, существует не только в моём воображении. В ужасе соображаю, что меня в сём важном учрежде-

нии просто *держат за чужого*, забравшегося не в свой огород, и разговаривают – как с обыкновенным графоманом. В последней шаткой надежде, дождавшись, когда начальство, как гоголевский Вий, подняло веки, – глянул я в его пустые, оловянные глаза и понял – это всё, я кончился. Унижение было феноменально тонким, но острым, как отточенный нож (и надо отдать должное исполнителям: оскорбительная театральная сценка была сыграна блестяще).

Вот тут я окончательно и бесповоротно понял, что это – конец, что больше никогда, никому и ничего предлагать не стану.

Теперь, по прошествии многих лет, мне предельно ясно, что тогда в этих делах я просто ничего не понимал.

В тех хождениях по редакциям, отстаивая своё право на творчество, я стремился – как всякий автор – быть услышанным на страницах печати. Но те, которые в тогдашней ситуации, противились этому моему желанию, – были, выходит, по-своему правы!

Все члены СП – этого сообщества профессиональных писателей – жили писательским трудом: гонорары – это и была их зарплата. А всякий пришлый – человек со стороны вроде меня, имеющий профессию и оплачиваемую работу – получалось, своей публикацией занимал чьё-то место и отодвигал – как говорится, стоявшего в очереди – какого-нибудь члена СП, лишая его законного права.

Разумеется, это был тормоз, мешающий появлению *с ули-*

цы новых талантов. Ну, а мне надо быть благодарным судьбе за то, что как-никак тогда удавалось всё же публиковаться вопреки устоявшимся правилам, которые, один за другим, сломали мои славные друзья Пётр Губер и Владимир Коркин.

Катастрофка и неожиданный подарок судьбы

После путча, случившегося в Советском Союзе 19 августа 1991 года, нелепым образом я оказался за океаном, в городе Монреале, где уже находилась приехавшая в гости к своей сестре моя жена с сыном. Тогда мной полностью овладело ощущение, что я потерял почву под ногами. Несмотря на моё знакомство с зарубежным миром, уже приобретённое в моих прежних скитаниях по морям, я никогда не стремился перебраться в другую страну, оставив отечество. Ибо был убеждён: при всём внешнем блеске тамошняя жизнь другая – ничуть не подходящая для русского человека.

А тут, выходит, я попался. И мир души моей обрушился. Внутренне я поставил крест на всём: на профессии, на прошлом опыте писательства – вообще на возможности реализовать что-то здесь, на чужой земле. И, значит, лишившись всего, – терял и возможность обеспечивать семью, как это мне удавалось раньше.

При всём том в сложившихся обстоятельствах не было какой-нибудь надежды на нормальную жизнь в случае возвращения в отечество. И всё это говорило о том, что жизнь моя кончена, что впереди – пугающая неизвестность. И что мне самому не поможет никто – даже близкие.

И тут произошло нечто, чему не подобрать другого назва-

ния... то есть такое, что люди называют чудом.

Мухаммед Наджари – сирийский курд, бывший житель Дамаска, осевший в Канаде – с первой же, подброшенной случаем, встречи с ним поразил меня свободным владением русским языком! Стоит ли тут уточнять, что это сразу нас сблизило и мы стали общаться.

Оказалось, в семидесятых он окончил МГУ на филфаке, затем там же аспирантуру – на это ушло около десяти лет. Возвратившись в Сирию, он оставался не только одним из тех, кто поддерживал культурные связи с СССР, но и занимался переводческой деятельностью: на арабский переводил Льва Толстого, Горького, Булгакова, Шукшина...

Однажды в разговоре со мной – с какой-то светлой улыбкой и даже смущаясь – он высказал мне своё крепкое убеждение, что для него в мире ничего нет выше великой русской литературы. В ошеломлении от неожиданности услышанного я признался, что имею некоторое отношение к писательству, и, упомянув о прошлых публикациях, сказал, что уж в теперешнем моём состоянии с этим покончено.

Мухаммед помолчал и как-то так, с печальной жалостью, посмотрел на меня.

– Думаю, что ты не прав. Быть русским – и отказываться от подаренной небом способности писать по-русски... это, это – ну как вернее бы сказать? По-библейски грех, что ли...

Эти его негромко произнесенные слова были для меня – как холодный душ: поразили и устыдили. Вспомнилось на

века сказанное Тургеневым и сказанное так, что это скорее напоминало молитву: «Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий... ты один мне поддержка и опора...»

Я потерял дар речи. Это что же? Представитель богатейшей древней культуры Востока, поступивший на филфак МГУ и за время учёбы погрузившийся в культуру русскую, – по прошествии многих лет и многих неординарных событий уже никак и ничем с Россией не связанный – гордится тем, что мной впитано с детства! А я? Представитель русской культуры на всё махнул рукой и фактически погрузился в какое-то нытьё?!

Вот так Мухаммед – феноменально просто, без пламенных речей и настойчивых убеждений – заставил меня очнуться, прийти в себя. И проснувшаяся во мне какая-то внутренняя сила заставила снова сесть за письменный стол, чтобы ощутить забытую радость оставлять на белом листе бумаги цепочку слов, состоящих из букв кириллицы.

Это он, мой новый друг, возродил меня к жизни и фактически стал соратником в нашем общем занятии, которое зовётся творчеством. Неожиданно он вовлёк меня в переводческое дело: предложил под эгидой Канадского Совета по культуре переводить на русский язык произведения очень популярного, всемирно известного франкоязычного писателя Ива Терио (Мухаммед уже перевёл несколько его романов на арабский). Эта необычная для меня работа сильно меня увлекла, преобразив мою жизнь, подарив удоволь-

ствие включиться в увлекательную переключку двух великих языков на материале прекрасной прозы (попутно я открывал для себя сравнительные возможности их – французского и русского). И мой дебют оказался успешным: я перевёл бестселлеры: «Агагук» (в этом романе искусно наложенная на детективный сюжет ярко показана почти первобытная жизнь канадских эскимосов в суровых условиях Севера с их непростыми отношениями с властями британской колонии) и «Ашины» (трагическая судьба индейского вождя, потерявшего опору в этой новой стране с индейским названием Канада).

Это был просто подарок судьбы! Практическая переводческая работа погружала меня в первоначальную историю страны на её северных просторах, талантливо и с замечательными подробностями изображённую автором, у которого, кстати, в родословной были индейские корни, что объясняет его интерес к теме и глубокие знания предмета.

По условиям Канадского Совета переведенные на русский книги должны были издаваться в России. Как с этим быть – я понятия не имел. Пришёл на выручку мой брат Александр, живший в Минске и нашедший необходимое издательство. Канадские чиновники от культуры оказались в курсе, что с Россией Белоруссия является союзным государством, в котором русский язык присутствует на равных. И книги были изданы.

Но переводы всё же не были главным моим занятием – я

продолжал писать своё, сокровенное.

Собираясь в очередной вояж на родину, с которой он не прерывал связи, Мухаммед предложил отобрать что-нибудь из мной написанного в отечестве и, когда я это сделал, прихватил с собой рукопись – и в 2005 году в Дамаске был опубликован на арабском небольшой сборник русской прозы XX-го века, в который вошли три рассказа Бунина, один Солженицына и четыре моих. При всём том был мне ещё и забавный сюрприз: перевод осуществил доктор филологии Хамади Хашем – выпускник Ленинградского университета! И учился он в сём славном заведении как раз в то время, когда я в нём трудился!

Вот так судьба иногда замыкает круги нашей жизни.

Но и этого мало. Фортуна устроила мне встречу в Питере с другим выпускником Университета, Игорем Савкиным, возглавлявшим издательство «Алетейя». Счастливое знакомство ознаменовалось тем, что неожиданно я сделался его постоянным автором и на сегодняшний день им издана целая серия моих книг в высшей степени превосходном исполнении.

И тут я подвожу черту: в лихие девяностые жизнь моя и в самом деле была бы кончена, если бы мне не везло на таких замечательных людей.

Часть вторая

Осколки минувшего

(рассказы из авторского архива)

Железная птица

За деревней садилось распалившееся за жаркий день солнце, краем оно задевало распущенные косы ивы за хатой – и узкие листочки тлели на его большой круглой сковороде. Дневная духота ещё висела в неподвижном воздухе, и одинокое «Карр!..» пролетевшей вороны было таким скрипучим, будто у неё напрочь пересохло в горле.

Алёшка выбежал из ворот встречать стадо. Отсюда – от середины холма – на левую сторону вниз по склону видно было, как, тесно прилепившись друг к дружке, кривенькой широкой улицей, точно в строю, толпились, выглядывали одна из-за другой хаты, торчали соломенные крыши. И у ворот и калиток виднелись бабы и ребятишки, как по уговору следившие за краем деревни.

Тимоша, соседский пацан, скакал по дороге, волоча за собой палку. Лежалая пыль раздавалась под ней, взвиваясь в застоявшийся воздух мутным облачком.

Алёшка тоже вышел на дорогу – и его порепавшиеся, в

цыпках, ступни погрузились в слой тёплой, бархатистой пыли. Коже было приятно и нежарко. За целый день пыль вообрала в себя тепло солнца и теперь не спешила отдавать его в начавший уже остывать воздух, мягко обволакивая задуবেвшие ступни. Он двинулся вдоль по дороге, шаркая, не отрывая от земли подошв – пыль обтекала их с боков двумя серыми ручьями, клубилась, оседала и застывала, оставляя позади две волнистые припорошённые борозды.

Между делом Алёшка подумывал о завтрашнем празднике, который устроят на горе за кладбищем. От Тимоши он узнал, что с утра там будет играть духовой оркестр, а ещё прилетит ироплан – он сказал, что это такая из себя большая железная птица. Ужасно хочется хоть одним глазком глянуть – да нельзя: завтра в заутрене его с отцом ждёт пение в хоре.

Из-под горы уже слышать мычание – разноголосое: густое и тонкое, – бляенье, щёлканье кнута. Там плывёт большое облако пыли – и вот уже видать головы передних коров и как они сворачивают к своим дворам: то одна, то другая – по очереди.

Алёшка нарочно убегает к воротам, прячется. От приблизившегося стада отделяется корова, вся в рыжих пятнах, с крутыми рогами. Ей тяжело нести набрякшее вымя, но она ускоряет шаг, вот-вот побежит, ищет глазами Алёшку и, не найдя, вытянув шею, обиженно и громко мычит. Не устояв, он выскакивает из укрытия – и она, переваливаясь, тяжёлой трусцой устремляется к нему. Он протягивает ей посыпан-

ный солью ломоть чёрного хлеба, она берёт его шершавым языком, жуёт, тычется мокрой мордой в ладони, прося ещё. Алёшка плечом подталкивает её к воротам...

Начинало смеркаться, когда прибежал посыльный – Гришатка, сын старосты, с известием: Алёшку звали на конюшню.

– Никак опять на всю ночь-то, сынок? – озаботясь, спросила мать.

– Почём я знаю, маманя... – степенно ответил он, а между тем душа его пела от радости. Просто так на конюшню не вызовут: видать, надобно ехать куда ни то... а уж, ежели повезёт... глядишь, дадут запрячь Матрёну... ежели нет – на худой конец хоть выпадет повидаться с ней.

Когда в Ольшанке налаживали коммуну и по селу собирали в неё общее тягло, пришлось отдать туда молодую кобылу – с той поры все стали переживать за неё, как за члена семьи, который оказался в чужих людях. Алёшка думал, что он скучает по ней больше всех: она и выросла-то на его глазах – и в ночное, бывало, выводил её только он.

Алёшка подрядился на подмогу к конюху в прошлом годе – как раз когда Матрёну со двора взяли. Придумал эту затею дедушка Аггей, сильно по ней зажалковавший.

– Нехай, нехай ездить... – ворчливо оборвал дед возразившего было отца. – Ты, Лексей, тама скажи, што на своёй лошади кучерить жалаишь.

– Была она своя... – горестно вставила мать.

– Замолкни, не перечь почём зря! – цыкнул на невестку дед. – Вон оне тама свово не берягуть, нешто чужова им жалко? Кто за неё радеть-то будя? Доглядай за Матрёнкой как след, а на случай чего – не гони шибко, понял? – сказал он Алёшке. – Она ить тама у них – што в плену теперя...

Торопясь, помня наставления деда, Алёшка наскоро выпил молока с хлебом, сунул босые ноги в стоптанные, но ещё крепкие, братнины башмаки и выскочил наружу.

После тёплой хаты разом обдало прохладой – как из сырого погреба. Там, за церковной колокольней, тучи, закрывшие полнеба, отливали густой, почти чёрной, синевой – от одного вида их сделалось зябко. «Гляди, никак на дождь потянуло? А ну – как накроет в дороге?» – с тревогой подумал он, воротился в сенцы, прихватил рогожу и снова выбежал из хаты.

Опустившаяся на двор тишина нарушалась лишь отдельными негромкими звуками. В курятнике куры полусонно вели свою вечернюю переключку или, может, делились переживаниями ушедшего дня. Слышно, как в хлеву размеренно жуёт жвачку корова, да где-то под воротами звонко заливается сверчок. В окружающем мире всё затихало, готовилось ко сну – а тут, видать, в ночь надобно ехать куда-нибудь.

Радость в душе его мешалась со страхом: вон его лежанка-то на печи так и будет пустовать, а он как раз будет на козлах трястись во тьме по степи, где по ночам, бывает, шагают лихие люди и останавливают подводы.

Войско атамана Антонова окончательно было разбито, в селе снова установилась власть Ревкома. Слышать было, что сам атаман не был пойман, скрывался в лесах, а кое-где оставшиеся его летучие отряды в несколько верховых носились по ночам в степи, днём же – как проваливались сквозь землю.

Алёшка помнил, как прошлым летом наведалась в Ольшанку атаманша Маруська. Людская молва летит по земле скорее самой быстрой тройки, и слух о делах атаманши бежал впереди носившейся по дорогам её разношёрстной шайки. Говорили в народе, что в ближней волости среди бела дня был до смерти зарублен местный председатель комбеда и что расправой командовала сама Маруська.

В тот раз удалось Алёшке подглядеть, как влетела в село лихая тачанка с бубенцами: смелая до отчаянности, Маруська не таилась, любила, чтоб далеко было слышно, как она едет. Неслись кони, бешено крутились колёса... вытянув шею, выбрасывая вперёд голенастые ноги, с истошным криком бросались врассыпную ополоумевшие от страха куры; отставала, клубами вихрилась сзади пыль навстречу всадникам – её охране. Атаманша – в красных гусарских рейтузах, с маузером на боку, в кубанке набекрень, – небрежно развляясь, полулежала на мягком сидении, держа в крепких зубах длинную заморскую папиросу.

Яростным осенним огнём полыхали её очи – и клонились дёбу головы случившихся поблизости мужиков, молодых и

матёрых, упирались глаза их в серую пыль под ногами.

Алёшку словно обдало всего холодным ветром, когда глянули в его сторону жёлтые глаза красавицы – было жутко до озноба, но и сладко отчего-то: то ли оттого, что взгляд её скользнул дальше, то ли – что она глянула и на него, шкета, торчавшего сбоку дороги возле деда Аггея, который один не нагнул головы, не упрятал взгляда и в сердцах плюнул себе под ноги.

– Баба! Подстилка дырявая, прости Господи... Портки с лампасами напялила, побрякушки нацепила, а все уж и напужались. Эх вы, ерои...

Рыжебородый Платон, сосед, метнул глазами в деда, ощерился:

– Ну, уж ты, дед, храбёр... ха-ха... когда она проехала.

– Вбна, дурень... Мне што? О душе подумать надобно, а не в драку лезть. А в твои-то годы, Платоша, я на турка ходил...

Платон покраснел, рукой махнул.

– На турка! – повторил он в досаде. – От удумал, дед. То война, а тут свои почище твоего турка... Ей, Маруське, всё ништо. Дурья кровь в ей ходить, кипить. Ей што жись, што не жись – едино всё... вожжа под хвост – конец свету белому. Допреж чем самой загинуть, она не одну душу живую сгубит. А нам землю пахать надоть да детишек рбстить...

Теперь та история с атаманшей вспомнилась как что-то ушедшее, которое воротиться уже никак не может. Он сам

перед собой гордился, что ему доверяют такое мужское дело. Вот уже которую ночь почти вся деревня, и отец, и старшие братья Алёшки, и даже дед проводят в поле – началась косьба хлеба.

А он теперь вместо кучера, он и дома за хозяина, даром что ему двенадцать лет. Что до тех, кто по степи шастает, то втайне он был уверен – они его не тронут, он им ничего не сделал. Да и те, кого он, бывало, возил, не садились к нему по одному и всегда были с наганами.

На конюшне его ждала удача: кроме Матрёны там отдыхал один только старый мерин, на котором возили воду, – а конюх сказал, что надо отвезти в Александровку (до неё было 18 вёрст) ветеринара. Матрёна радостно фыркнула Алёшке в лицо, ткнулась ему в плечо мордой, жадно вдыхая знакомый запах вздрагивающими ноздрями. «Признала... ах ты, рыжая...» – пробормотал он, выводя лошадь из стойла. На дворе он подвёл Матрёну к единственному на всю деревню тарантасу, который держали для особых случаев. Лошадь так разволновалась, что слишком резво попятилась в оглобли, налетев на козлы.

– Ну-ну, анчутка! Застоялась, очумела от радости. – Он пошлёпал ладонью по тугой шее кобылы. – Небось с чужим-то не так уж в охотку тащиться куда ни то на ночь глядя... А уж мы с тобой поладим.

Запрягая, Алёшка задирает голову – небо всё больше затягивалось напозавшей хмарью. Намотав сунь на руку, под-

натужась, собрав все силы, стянул концы хомута, закрепил. Кося глазом, Матрена ждала, нетерпеливо переступая копытами.

Наконец тронулись со двора. В тарантасе-то ехать хорошо – куда лучше, чем в телеге: не так трясёт да и скорее. И на козлах восседаешь как настоящий кучер. Важничая на виду повстречавшихся баб, Алёшка прогнал по проулку и лихо подкатил к коровнику. У задней его стены горой темнела туша племенного быка. Ещё недавно он видел этого бугая на выпасе, на него было боязно глядеть – до того он был огромный и свирепый с виду. А теперь вот он лежит мёртвый; рядом, понурившись, стоят оба пастуха, притихшие бабы... Ветеринар напоследок повторил мужикам, чтоб не сомневались – бык пал от сибирской язвы, а с ней шутки плохи: надо всё облить карболкой, а тушу закопать. И бросил Алёшке: «Поехали!». Когда он сел, Алёшка развернулся и выправил на дорогу. Сердце его на секунду обдало холодком страха перед тем, что их ждёт впереди. «Глядь, и впрямь один... И нагана не видать. Дела-а-а... Ну-к встренут?»

Заметно темнело. Хмурая наволочь уже застила полнеба. Повечернему лениво, с прохладцей, брехали собаки. Проплывали мимо хаты. И почти из каждой лился ещё бледный свет керосиновых ламп, освещая то цветы в палисаднике, то стёжку к воротам, то кусок плетня.

Седок молчал. Человек он был пришлый, городской, жил теперь в Александровке, на постое. Алёшка робел перед ним

и словно всей спиной своей чуял его присутствие.

Оставив позади деревню, выехали на гору. Алёшка оглянулся. Внизу среди тёмных пятен деревьев, хат дрожала горстка слабых огней, словно стайка жёлтых бабочек слетелась на ночлег в низину – там в теплых хатах все приготавливаются ко сну. И теперь уж с поля воротились дедушка, отец, братья, чтобы завтра, в воскресенье, побыть дома. Вот, усталые, топают они по крыльцу, входят в сенцы, сбрасывают серые от пота и пыли рубахи, идут в горницу, умываются. Отец, наклонясь над тазом, фыркает, плещет водой в лицо, на грудь, на шею, разделённую тёмной полосой загара и совсем белой кожи. Мать стоит рядом, подаёт и убирает мыло, потом поливает чистой водой из корца... И улыбается довольной улыбкой. Отец берёт у неё полотенце – с рыжей бороды капает на пол вода...

Так-то вот в такой же вечер на прошлой неделе отец спросил, вытираясь:

– Ну, мать, сказывай, как тут без нас Лексей хозяйствовал.

У Алёшки радостно прыгнуло сердце оттого, что отец о нём спрашивает, как о хозяине. Но он тут же отвернулся от отцовского взгляда – он не забыл как весной отец выпорол его супонью. Попало ему за то, что забыл вовремя закрыть крышку над погребом. Туда свалилась свинья, переломала ноги и её пришлось до срока зарезать. Случилось это во время поста. А тут ему как раз надо было петь в церкви.

Стоял он тогда в первом ряду хора. Внизу голос батюшки

гудел, густой, низкий звук вытекал из его толстых губ, ширился, растекался по церкви – где-то в оконце позванивало стекло. Высокие, звонкие голоса хора возносились с клироса кверху, под своды, и там замирали – тонко, щемяще. Алёшке в тот раз нехватало голоса – он не мог вдохнуть полной грудью, потому что болела спина, и приходилось делать вид, что поёт во всю мочь...

Он опамятовался, огляделся. Наверху небо уже напрочь закрылось тяжёлыми тучами. По левую сторону – там, где село солнце, – ещё держалось желтоватое сияние, а небо над ним уже было тёмным. Справа было непроглядно, мрачно – ни звёздочки, оттуда ползли тучи, дышало холодом. Там раз за разом вспыхивало и погрохатывало глухо, как будто ворчливо. А впереди, над дугой, влажно подмигивала чистая голубая звезда.

– Давай скорей, что ль... Не то гроза накроет. Вишь заходит, – слышался за спиной глуховатый голос.

Алёшка причмокнул губами, дернул вожжи – и Матрёна пустилась рысцей, кивая головой и косясь глазом на правую сторону. Он видел, как она чутко прядает ушами и как звёздным светом отсвечивает её глаз. Он обернулся на врача. Тот дремал, прислонясь к боковине кузова, свесив покачивающуюся голову. Алёшка заёрзал на козлах и снова передёрнул вожжами.

Проехали мимо кладбища, выехали на большак. Становилось совсем темно. При сполухе в бледном далёком свете из

темени на миг выхватывалась дорога, Матрёна и его, Алёшкины, руки, державшие вожжи. После вспышки тьма, проглатывавшая всё вокруг, казалась ещё непрогляднее, и с ней – будто стая невидимых летучих мышей – слетались к нему ребячьи его страхи (словно нечистый невесть чего нашёптывал ему на ухо).

Но вот снова пробегала по облакам нестрашная, без грома, зарница – и даль распахивалась перед глазами: далеко вперёд виден был пустой большак и вместе с ним убежавшие в степь столбы с проводами. От картины этой, особенно от вида столбов, которые поставлены, чтоб соединять людей меж собой, на душе становилось легче. И под мерный, глухой стук копыт по дороге и тарактение колёс Алёшка успокаивался, сам себе усмехался. Мысли его потихоньку поворачивали в завтрашний день к намечавшемуся празднику. Тимоша хвастал, что всем можно будет глядеть на ту железную птицу – и даже её потрогать. Вспомнив об этом, Алёшка снова огорчился оттого, что ему-то вряд ли удастся побывать при этом – тут он даже позабыл понукать лошадь.

Но Матрёна чуяла надвигавшуюся грозу и неслась во всю прыть. И ветврач проснулся, кашлял сзади скрипучим голосом. Всё ближе посвёркивали молнии и уже докатывались раскаты грома.

Показались редкие огни Александровки. Когда оставалось лишь въехать в улицу и повернуть направо, совсем неподалёку, за ближней хатой, кривая огненная змея, со-

рвавшись с неба, скользнула в землю – Алёшку ослепила вспышка, он сжался, вобрал голову в плечи, прикрылся руками. Тут же оглушающе грянул удар грома. Его грохочущие перебаты прокатились, казалось, по спине лошади, по повозке и глухо затерялись в степи, ушли в землю.

Но вот, наконец, и двор. Сторож отворил ворота и Алёшка, не останавливаясь, заехал под навес. Ветеринар сошел вниз, что-то сказал старику и ушёл в дом. Там ещё не ложились – ждали хозяина – в окнах горел свет. Матрёна, повернув голову, смотрела в сторону ворот, где суетился дед.

Алёшку забрали сомнения – может, он успеет обратно, домой? Что кто-то может повстречать его в пути – о том он и думать забыл, в мыслях его теперь была лишь заходящая гроза. Сторож словно прочитал его мысли.

– В обрат невозможно таперя – куды там! Роспрягай кобылу, пострел. Ды отвяди её вон туды, к кормушке! – кричал тонким голосом дед, шаркая по земле и запирая ворота.

Алёшка соскочил с козел, подошёл к лошади. Матрёна шумно вздохнула. Пахло сеном. Жёлтая полоса света достигала навеса, и было тихо здесь, громыхало где-то далеко. Пришёл дед, помог распрячь и отвести лошадь, воротился и ухватил его за рукав.

– Подём в хату.

– Не... – упёрся Алёшка.

– Эка, чудной... Сожрут тя, что ль?

– Не пойду я. – Он упрямо высвободил руку.

– Ишь ты, гордец какой. Ну, погоди.

Старик кряхтя поднялся по ступенькам, прошёл в хату – и тут же воротился, принеся кринку с молоком, пару холодных картошин в мундире, головку лука и горбушку хлеба.

– Давай, оголец, лопай.

Алёшка застеснялся, выдавил:

– Не хóчу я...

– Ну, будя, будя, – осерчал дед. – Дают – бери... Нешто можно не емши?

Он опять удалился и на этот раз принёс свой зипун.

– Не хошь в хате, ночуй здесья – на сене.

Когда дед ушёл, Алёшка расположился на сеновале: расстелил рогожу и принялся за еду. Хлеб был тёплый, его корка хрустела, поскрипывал на зубах лук, картошка таяла во рту, когда он запивал её молоком.

В хате потух свет, и ему пришлось наощупь шарить руками. По крыше звонко шлёпнула капля, за ней другая, третья – и тут вдруг будто сорвалось, будто кто-то стал сыпать горох на жёсть из большого мешка – хлынул ливень.

Алёшка лёг, положил голову на руку. Крыша намокла, шум дождя стал глуше, ровнее. Сверкнула молния, обнажив свесивавшуюся с края крыши частую занавесь из серебристо-голубых нитей, – а на земле уже лужи, ручейки и вода в них кипит, булькает и пузырится. И тут же всё исчезает – снова темень. И слышно только шорох и плеск дождя.

Но вот уже нет ни дождя, ни грома, ни навеса. Вдвоём с

Тимофеем они идут через поле, где высокая трава, летают бабочки. Они идут и разговаривают, вспомнили о железной птице. Алёшка удивляется:

– А как это она крыльями махаить?

– Ты чего? – смеётся Тимоша. – Она прямо летит – и всё.

Папаня говорил.

– Да она ж упадёт тогда.

– А вот завтрава приходишь, сам увидишь.

Они идут дальше и вдруг видят: в небе летит железная птица и машет крыльями. И Алёшка, довольный, кричит Ванятке:

– Во, гляди, говорил я тебе!

И тут огромная и чёрная, как грач, птица стала приближаться, потом снизилась, грохнулась о землю и вдруг кинулась к ним, выбрасывая ноги, неуклюже подпрыгивая и хлопая крыльями – взлетали кверху выдранные клочья травы...

Алёшка аж подпрыгнул на зипуне, тараща глаза в темноту, где всё так же шумел и плескался дождь и где-то рядом хрупала сеном Матрёна. И он, успокоенный, снова повалился на сено и теперь уж крепко заснул безтревожным сном.

Было уже светло, когда он протёр глаза и вышел из-под навеса. Вставало солнце – чистое, золотистое, словно омытое дождём. И в утренней свежести, во влажном воздухе его жёлтое, как лепестки подсолнуха, сияние исходило чуть заметным теплом, похожим на то, какое идёт от только что вынутого из печи каравая. Влажно дышала и парила земля, вдо-

воль напившаяся дождя. Пахло мокрой травой и сеном, блестящие разбросанные по двору зеркальца луж. Небо сияло лёгкой, прозрачной голубизной, словно радовалось, что сбросило на землю тяжёлую ношу туч. Он глядел кругом и ему казалось, что донимавшие его вчерашние страхи – да и сама гроза – ему просто приснились. Но откуда же тогда лужи и крупные капли воды на лопухах возле ограды?

Алёшка вздохнул, оторопело переступил с ноги на ногу. Чего это с ним? Что, не видал он, что ли, такого сроду?

Что-то шевелилось в нём – там, внутри... будто какое-то слово просилось наружу да так и замерло, невысказанное. В растерянности он воротился под навес, подошёл к лошади. Матрёна тихонько заржала. Вот же, шельма, домой просится, и хорошее сено ей не впрок – подумал он. И потрепал по холке кобылы. Матрёнин глаз ласково и преданно смотрел на Алёшку.

Обратно, чтобы сократить путь, он поехал по просёлочной дороге. Теперь он уселся на сиденье тарантаса как заправский ездок.

Дорога блестела вся, сверкала, переливалась солнечными зайчиками. Алёшка совсем отпустил вожжи, понукать незачем – Матрёна сама торопилась домой. Колёса скользили, съезжали в наполненные водой колеи, снова выбирались оттуда – тарантас ходил ходуном. Шлёпки грязи летели из-под копыт лошади, словно потревоженные кузнечики из густой травы. А вокруг – одна красота: воздух чист и свеж, трава

зелена, вымыта дождём, у самой дороги травинки клонятся под тяжестью крупных капель, вспархивают и уходят в небо перепела – всё радуется, всё улыбается утру и солнышку...

Едва лошадь, пофыркивая, выбралась на большак, как со стороны Ольшанки слабо донёсся тягучий колокольный звон. Звонили к заутрене. Алёшка вполне поспевал домой – ехать оставалось немного. Он вспомнил о празднике, но не с такой жгучей жалю, как это было вчера. Он надеялся, что поедет мимо и, может статься, увидит кой-чего издали.

Когда завиднелись кроны деревьев у кладбища, поодаль он разглядел кучку людей и расслышал прорвавшийся сквозь благовест обрывок музыки. Внезапным приливом поднялось в нём нетерпение, и он погнал лошадь скорее.

И тут он увидел её: на зелёном ковре травы, раскинув крылья, ослепительно сверкая серебром на солнце, стояла железная птица.

Что-то с ним сделалось: зная, что его ждут дома, слыша плывущий надо всем зов колокола, он чувал, как одолевает его греховное желание теперь не ехать домой, и нечаянно искал место, где можно будет повернуть на поле. Но тут проехать нельзя было – обочь дороги тянулась овражина, которая кончалась только перед самым спуском в село. Нетерпение возросло в нём до озноба. Алёшка натянул вожжи – Матрёна неохотно остановилась и недоумённо глянула на него. Он соскочил на дорогу, достиг оврага, почти скатился по склону, оскальзываясь, хватаясь за ветки лозняка, кое-как

выбрался наверх, и, заляпанный грязью, но обезумевший от счастья, понёсся по мокрой траве.

Странная, неодолимая сила гнала его вперёд. Она была сильнее колокольного звона, сильнее страха перед совершаемым грехом, перед будущим неминуемым наказанием. Он позабыл обо всём.

Великолепная, сияющая под солнцем, как сама мечта, неумолимо звала к себе железная птица.

1963

Верблюжье житьё

*Памяти В.В. Гурского
(30.01.1939, Орск – 1.11.2014, Германия)*

Была весна в оренбургских степях.

Где-то далеко шла война. Сталина Антоша представлял плохо, Гитлера не мог вообразить никак. Воевали они, сколько он помнил, всегда.

Там, на войне, пропал без вести отец. Но он обязательно найдётся. Просто отец временно заблудился где-нибудь, и у него пока ещё нет голубя – из тех, что почту приносят, – чтобы послать с ним письмо или записку. Сам-то он, когда прошлым летом мать брала его с собой на работу в поле, как-то долго блукал в лесопосадке – не мог найти выход, а потом всёж-таки отыскал и вышел к людям. Так думал он и про отца, он и матери сказал про это, а она вдруг заплакала. Он ничего не понял – чего же тут плакать?

А весна была кругом: что-то переменялось вокруг под высоким, необъятным, распахнутым во всю ширь небом. Пацаны бежали по тонкому, хряскому льду схватившихся за ночь луж среди почерневших подушек ещё нестаявшего снега – неслись со всех ног туда, где верблюд вытаскивал застрявший в грязи «студебеккер».

Они опоздали. Шофёр, привалившись к дверце кабины,

докуривал папиросу, лениво посматривал на торчавших поодаль баб. Те глядели на него, молодого, белозубого, с тоскующей и ласковой жадностью: в деревне давно уж мужиков-то – раз-два и обчёлся. Да и этот вряд ли здесь задержится – идёт война. Выпряженный верблюд стоял сбоку, одинокий и высокомерный.

Животи́не этой доставалась работа самая тяжёлая, но судьбу свою верблюд нёс без ропота. Соседи завидовали деревне, имевшей такого работягу. Во всех окрестных хозяйствах было всего несколько замордованных лошадей и потому пахали и на коровах. А вот он был один-одинёшенек на всю округу.

Бог знает, откуда он взялся. И в армию его не брали – может, верблюдам на фронте нечего делать, а скорей всего был он приبلудный и просто не значился в списке колхозного имущества.

Жилось ему не сладко. Ни в какие стойла он не влезал, да никому и в голову не приходило, что верблюду не помешало бы убежище. Но к людям он привязался, и, когда ему случилось быть не в упряжи, он всё время слонялся у околицы, где-то рядом с жильём, как настоящий, преданный друг.

Ясное дело, работу любить он не мог. Она была каторжной, а еды перепадало немного, но он терпеливо сносил все тяготы жизни. Лишь зимой в жестокие бураны делалось ему совсем невмоготу. Оголодавший, дрожащий от холода, он против воли отправлялся воровским путём промышлять

кормёжку. Занимался этим верблюдов не в пример стеснительно, переходя от избы к избе и дёргая пучок-другой из подвернувшейся на пути копны – способ ужасно глупый, потому что его чаще заставляли за таким делом и били чем попадая (а попадались тут хозяевам под руку осиновые жерди и вилы).

Но вот перед самой-то войной ему стало как-то легче существовать – неожиданно явилось внимание к его неприкаянной жизни. И пришло оно издалека в образе деда Яниса, ссыльного из Латвии, одного из тех крестьян, у которых было гектара по четыре худородной земли. Как раз в тот зимний лютый день, когда привезли ссыльных, – на перевозке дров измученный, озверевший колхозник, ударив верблюда, нечаянно выбил ему глаз. Старик, которого подселили к ним, согрел воды, промыл бедолаге вытекающий глаз и кое-как приладил на время тряпицу. А потом, когда деда отрядили работать на конюшне, он подкармливал одноглазого как мог: то угостит охапкой сена, то сунет ему твёрдый, но такой вкусный, кусочек жмыха. И верблюдов, когда бывал без дела, вечно торчал около ихней хаты, высматривая своего друга.

Антоша побаивался деда Яниса из-за всегдашнего его угрюмства. Какой лихой бедой занесло его в чужие края, в деревне никто не знал, старик молчал как немой и почти не выпускал изо рта большую чёрную трубку.

Но однажды в долгий, унылый зимний вечер его прорвало.

За белым, обросшим инеем, окном чернела тьма, истошно

завывала метель. Втроём они сидели в молчании. Мать вязала носки, Антон исподтишка подглядывал за дедом, а тот, зажав в заскорузлом кулаке давно погасшую трубку, не мигая, из-под седых нависших бровей уставился на огонёк керосиновой лампы... Что там виделось ему в тусклом язычке пламени?

И вдруг, путая и коверкая русские слова, он глухо выговорил, что его сын, который там *партайфункционир*, мог бы замолвить за него слово перед властями, но не захотел – а может, и побоялся...

Это всё, что удалось узнать. А когда уже легли, Антоша не мог уснуть – всё думал об этом длинном, странном слове, которым старик назвал своего сына. И, замучившись, спросил у матери, что оно такое.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.